



Виктор Николаевич Кустов родился в 1951 году в Смоленской области. Окончил Иркутский политехнический институт. Работал журналистом. В настоящее время главный редактор литературного журнала «Южная звезда». Автор 16 книг прозы, 5 книг публицистики, 2 книг пьес. Лауреат ряда литературных наград, победитель международного конкурса «Литературный Олимп». Член Союза писателей России. Живет в Ставрополе.

Виктор Кустов

ГРЕЗЫ

Рассказы

Она была натуральной блондинкой. А к блондинкам я отношусь с предубеждением, поэтому на протянутую ладонью вниз руку отреагировал с опозданием. Да и потом, обнимая теплую узкую своей широкой и ощутимо грубой, промедлил, не зная, пожать или поднести к губам. Наконец определившись и несильно пожав, подумал, что с такими девицами искренним быть невозможно и беседа у нас, скорее всего, не получится. Но обвел рукой пустой класс, в котором еще таилось эхо недавних горячих дебатов с моими одиннадцатиклассниками, уже не детьми, но еще и не взрослыми, а оттого — ершисто-самоуверенными и незыблемыми в своей кажущейся правоте.

— Присаживайтесь.

Она помедлила. А я продолжал стоять у учительского стола, предоставляя ей право выбора и не сомневаясь, что она сядет напротив. Но она присела за второй ученический стол в крайнем, возле двери, ряду, и теперь уже мне нужно было решать, остаться за своим столом или же... А что, собственно, решать, она не так уж далеко ушла от моих учеников. И я сел рядом за вторую парту в соседнем ряду.

Сидели, смотрели друг на друга и улыбались. Я, как себе представлял, — гостеприимной улыбкой ожидания. Она — осторожной улыбкой привыкания, по-видимо-

му, размышляя, такого ли учителя она ожидала увидеть или я не вписываюсь в воображаемый образ.

Ну, а я изучал ее.

Вероятно, она была первой красавицей в классе, потом — на курсе в институте, привыкла к вниманию других и собственной невнимательности к другим. Во всяком случае, первая красавица моего класса Тоня Соболева была именно такой и в упор меня не видела до десятого класса. Но на Тоню она была непохожа: та была жгучей брюнеткой.

— У вас уютно, — сказала она, обводя взглядом класс.

Какой может быть уют, самый обычный стандартный класс в стандартной школе.

Не тороплю, пусть вспомнит свою школу.

Но пауза неоправданно затягивается...

— О чем же мы будем говорить?

— Да, действительно, вернемся в настоящее...

Неторопливо достала из нынче модного рюкзака блокнот и авторучку, смартфон.

— Не возражаете против записи?

Я кивнул.

Положила блокнот перед собой, а смартфон, включив, — на стол передо мной. Произнесла явно отрепетированное:

— Валериан Павлович, вас знают как оригинального учителя, ваш опыт перенимают, расскажите, почему вы выбрали непопулярную у мужчин профессию?

И, открыв блокнот, приготовилась записывать.

— Простите, вас зовут... Вы говорили, но я не расслышал.

— Галина.

— Так вот, Галочка, я еще помню времена, когда ваша профессия считалась мужской и женщины-журналисты были редкостью. Теперь же все наоборот. А в школе и раньше, и теперь — больше женщин, разве что физруками и трудовиками они не были. Почему вы выбрали свою, по сути, мужскую профессию?

— Я... вела дневник, — неуверенно ответила она, уступая роль интервьюера.

— И пишете стихи?

— Нет. Роман...

— Вот как? — удивился я. — О чем же?.. Ах да, конечно, о любви.

Впрочем, возможно — детектив или фэнтези, это сегодня поветрие среди женщин.

— О любви, но не совсем...

Она замялась, похожая на прилежную ученицу, забывшую урок.

— О жизни, — понимающе кивнул я, делая серьезное лицо. И не удержался: — У вас, должно быть, большой жизненный опыт.

Она уловила сарказм и, похоже, обиделась, ее взгляд приобрел жесткость.

— Обо мне неинтересно. Читателям интересно узнать о вас. — Попыталась перехватить инициативу, но во мне учитель уже взял верх над интервьюируемым.

— А вы любили в школе математику?

— Может быть, алгебру, — неуверенно произнесла она. — Геометрию точно не любила. Не понимала.

— Наверное, у вас был плохой учитель.

— Клара Самсонова?.. Нет, она была добрая.

— И что вы запомнили из геометрии? Теорему Пифагора, наверное, точно запомнили.

— Ну да... Пифагоровы штаны во все стороны равны.

— А знаете, откуда пошло это выражение?

— Нет.

— Больше ста лет назад была поставлена комическая опера, прообраз мюзиклов, которая называлась «Иванов Павел». Об ученике-двоешнике, к которому во сне приходят разные предметы, но он даже с помощью шпательки не может ответить... Это о связи математики и литературы. Если же говорить о математике, то очевидно, что гипотенуза больше каждого из катетов. Но сумма длин катетов больше длины гипотенузы.

Я выдержал паузу. И хотя видел, что она даже не старается следить за моей мыслью, закончил.

— Но вот мы увеличили катеты, возведя в квадрат, и они сравнялись с также возведенной в квадрат гипотенузой, как бы мы не меняли конфигурацию треугольника. То есть заведомо большая ломаная линия сравнялась с прямой, потеряв при увеличении размер... Сжалась? Или наша гипотенуза растянулась?..

Я видел, что она старается понять. Но не пускаться же в рассуждения о всемогущей парадоксальности математики.

— Между прочим, Пифагору принадлежит идея гармонии сфер. Это уже не о геометрии. Он считал, что планеты, Солнце, звезды, находясь в движении, создают гармоническое звучание. Божественное звучание, которое мы не слышим, потому что оно с нами с самого рождения. Вот вам — музыка и астрономия...

Я видел, что моя новоявленная ученица не все понимала, что я говорю.

А впрочем, какая она ученица. Вполне взрослый человек. Журналист.

— Вообще математика — это и философия, и Вселенная. Тот же Пифагор учил магии чисел: единица — это единое неделимое, двойка — материя, три — идеальное число, имеющее начало, середину и конец. Треугольник — священный символ. Цифра пять представляет из себя сумму четных, женских — двух и нечетных, мужских — трех и соответствует браку.

Я бросил взгляд на ее руки, убеждаясь, что, действительно, кольца нет. Хотя нынче и без колец живут. Гражданский брак в моде.

Она потянулась за смартфоном, глядя на меня — глаза у нее были карие с золотинкой, — выключила его. И просительно произнесла:

— Валериан Павлович, давайте мы перенесем встречу?

Я взглянул на часы.

— Да, пожалуй. Хотя вряд ли я вам расскажу что-нибудь интересное.

— Вы так интересно начали... — И, не отводя взгляда, подавшись в мою сторону, прошептала-призналась: — Я просто не подготовилась к нашей встрече. Но зато поняла, за что вас любят ваши ученики.

— Ну, я бы не сказал, что они меня любят.

— Любят, любят, — сказала она, обретая прежнюю независимую уверенность. — Если бы я была вашей ученицей, я бы влюбилась и в математику, и в вас...

Я поймал себя на том, что мне лестно такое признание. Блондинки никогда меня не любили.

— Я вам позвоню, — утвердительно произнесла она. — Когда буду готова.

— Вы считаете, что обо мне стоит писать?

— И о вас, и о математике.

— Звоните.

Я проводил ее взглядом, с неохотой признаваясь самому себе, что эта блондинка мне понравилась.

Мне — сорок. От силы — сорок пять.

Это по моим ощущениям. По общепринятым же человеческим меркам — значительно больше, потому что я сед и уже имею право считать, что я прожил достаточно, чтобы знать о бытии основательнее многих ныне живущих на Земле. То есть отношусь к меньшинству, завершающему земной урок, на чьем опыте будет прорасти, расцвести и со временем также увядать накопленный за земную жизнь опыт всего человечества.

У меня нет врагов среди себе подобных, единственный мой враг — зеркало, ибо оно напоминает о земных реалиях.

И есть огорчающее меня осознание, что будущее больше не выдумывается. Как бы я ни пытался, ни перебирал всевозможные варианты того, что грядет, — воображение соскальзывает в прошлое.

И это для меня непривычно.

Я привык жить фантазиями. *Завтра* всегда было для меня интереснее, чем *вчера* и даже *сегодня*. Оно манило, завлекало — в каждом возрасте по-своему. Своими грезами.

Но всегда манило и обещало...

Я понимаю, что произошло. Фантазии не нужен опыт. Он губит слабые ростки грез махиной прожитого, бывшего, знакомого, прочувствованного. Да, несомненно, прошлое — богатство. Но богатство не напоказ. Не для трат. Оно больше напоминает клад, который спрятан в одном, ведомом тебе, месте, и я хотел бы поделиться, и жадничаю, люблюсь своими сокровищами в одиночестве, тайно...

А впрочем, клад ли это для других? Возможно, что только я так считаю, а на самом деле это уже безделушки. Мусор для пришедших в этот мир позже меня. Пришедших и создающих свой мир из своих грез, постепенно вытесняя мой мир, в котором мне было хорошо и уютно, который я привык считать неизменным и вечным...

Галина шла по улице, не обращая внимания на мужчин, давно привыкшая к их взглядам, в которых только и было, что заинтересованность самца. Когда-то таким взглядам она радовалась, сознавая свою красоту, свою желанность, свою власть над сильным, а на самом деле — слабым перед ней полем и заряжаясь от этого уверенной легкостью.

Так было до замужества.

До ее жизни с Вадиком, умным очкариком на год старше нее. Вадик был робок, но знал очень много того, о чем она даже не догадывалась. И голос у него был завораживающе ласков. Она тосковала, когда долго его не слышала. Они прогуляли всю осень: она — выпускница школы, не поступившая в университет и не захотевшая возвращаться в родной поселок; и он, успешно перешедший на второй курс, горожанин. И пришли к пониманию, что не могут жить друг без друга.

Первой поняла это она, и сказала об этом Вадик. Вадик сначала растерялся, стал говорить, что живет вдвоем с мамой и что еще не готов

содержать семью, но она уже устроилась в ювелирный салон, хозяин которого, толстый низенький армянин, явно был к ней неравнодушен и отличал ее, поощряя то отгулами, то премиями. И было за что, потому что покупатели из всех продавцов предпочитали покупать именно у нее; она умела подать мужчинам ложную надежду.

Она не стала надеяться на колеблющегося Вадика, сняла квартиру и была в ней счастливой хозяйкой, медленно, но уверенно отвоевывая своего студентика у мамы и веря, что со временем ее теперь уже муж превратится в настоящего мужчину.

Нет, принц ей был не нужен. Был нужен вот такой умненький, худенький, требующий ласки и внимания Вадик.

Время шло, но Вадик никак не превращался в настоящего мужчину, образ которого уже будучи замужней женщиной она собрала из немалого количества черт знакомых ей мужчин.

Детей они решили не заводить, пока он не окончит институт. Да она и не хотела, потому что так и не оставила мечту поступить в университет. Но договорились, что будет поступать только после того, как окончит Вадик, надо ведь кому-то зарабатывать.

Вадик хотя уже и мог подрабатывать, но не очень-то хотел. Когда у нее кончались деньги и приходилось переходить на каши, он уходил жить к матери, возвращаясь оттуда изголодавшимся исключительно по ее телу.

Она была счастлива — и оттого стала еще красивее.

У нее было много ухажеров, которых нисколько не смущало, что она замужем, и некоторым она даже позволяла себя провожать. Однажды с таким провожатым Вадик столкнулся у дома. Провожатый был старше лет на пять; в отличие от Вадика, спортивно сложен, высок, ненавязчив, им было по пути, отчего она и позволила ему дойти с ней до дома.

И с этого момента Вадик перестал ей верить. Теперь ласки его стали несдержанными и иногда даже злыми, словно он хотел причинить ей боль. Она сумела успокоить его, рассеять подозрения, на время вернуть прежние безмятежные отношения. Но что-то уже стало не так в их любви. И наконец, она созналась самой себе, что не может представить Вадика отцом своего ребенка, и решила, что нужно любить не только его, но и себя.

Когда он защитил диплом, она заявила, что теперь будет учиться — и если он не готов ее содержать, пусть возвращается к матери. Со свекровью у них так и не наладились за это время отношения; та считала, что у Вадика должна быть другая жена.

Она поступила в университет, получила место в общежитии и соседок по комнате — молоденьких девчонок, с которыми создала дружную коммуны, позволяющую жить на стипендию.

Вадик несколько раз навещался к ней. Они даже умудрялись любить друг друга на общежитической кровати. Но потом куда-то надолго пропал и появился к Новому году, чтобы сказать, что встретил настоящую любовь, а с нею была только влюбленность, которая прошла. И что его невеста, а по сути — уже жена, живет в их с мамой квартире, и они хотят расписаться. И она не стала возражать против развода.

Теперь она была свободной женщиной, знающей, что такое семейная жизнь, пересмотревшей свои взгляды на отношения между мужчиной и женщиной и пришедшей к выводу, что ей нужен мужчина постарше. Ей вдруг захотелось стать избалованной девчонкой, хотя таковой она никогда не была: родители жили небогато да и не очень ладно, все время руга-

лись, и им было не до нее. Когда она уехала из дома, они скоро разошлись: как говорила мать, «по вине твоего отца-кобеля».

...У Валеры был свой бизнес: продуктовые магазинчики. Он увидел ее, еще когда она работала продавцом; тогда же пытался ухаживать, но она была верна Вадику. К тому же Валера казался ей стариком: ему уже было сорок лет. Конечно, он был женат. В магазин он приходил, чтобы купить подарок жене. И с той первой встречи стал частым покупателем; правда, теперь не только что-то покупал жене, но и преподносил подарки ей: букет цветов, духи, книги. Делал он это неназойливо, словно давней хорошей знакомой, обставляя это такими словами, что она не могла не принять подарок. Цветы он дарил в каждый визит, объясняя это невозможностью пройти мимо цветущей красоты и поясняя, что готов дарить их всем красивым женщинам. Духи — в ее день рождения, сказав, что они соответствуют ее запаху и что это своеобразный тест для него, пусть она скажет, угадал ли? Книги же — уже зная, куда она хочет поступать, сопровождая пояснениями, почему их обязательно следует ей прочесть. Когда-то он окончил философский факультет, но жизнь повернулась так, что философия оказалась никому не нужной и прокормить не могла. А он уже был женат, рос старший сын, намечался второй, и надо было менять собственную философию жизни.

— Диогена из меня не получилось, бочки подходящей не нашлось, — шутя ответил он на ее вопрос, отчего так круто поменял жизненные устремления.

...Он отыскал ее в общежитии, еще не разведенную, но уже оставленную (правда, он об этом не знал): пришел сказать, что не может ее забыть и готов бросить все и увезти ее на край света.

Вадик никогда не говорил ей таких слов.

И она уступила ему.

Это случилось в гостинице, в дорогом номере, который он снял, с шампанским, ужином на двоих при свечах... И оказалось, что у него красивое молодое тело, на удивление ласковые руки, чарующий шепот, и ей было так хорошо, как никогда прежде с Вадиком...

Он определил ее консультантом в своей фирме с неплохой заработной платой. Снял квартиру, в которую теперь приезжал, как хозяин, со своим ключом. Правда, не так часто. Помимо того, что ему приходилось заниматься делами, мотаться по поставщикам, заключать договоры и контролировать работников, нужно было уделять время и семье. Галина понимала это и не настаивала на узаконивании их отношений, хотя уже не сомневалась, что от этого мужчины у нее обязательно будет ребенок, даже если он этого не захочет.

Она уже училась заочно и охотно вникала в дела фирмы, помогая Валере сохранять и приумножать свой бизнес. Они жили как бы вместе, но и порознь.

Когда она поняла, что забеременела, она не стала ему ничего говорить, твердо решив, что будет рожать, даже если он ее оставит. И он, узнав об этом, не стал отговаривать. Только честно признался, что от жены и сыновей уйти не готов. Но и ей будет помогать и от своего ребенка не откажется.

Тогда ей впервые было очень обидно. До слез. Он говорил, что любит ее, что только с ней бывает счастлив, и в то же время не находил в себе сил порвать с женой, признаваясь, что и без нее не представляет свою жизнь.

— Я, наверное, в прошлой жизни имел если не гарем, то уж несколько жен, — сказал он, когда она отплакалась и простила его. — Просто я вас люблю по-разному.

Конечно, она осознавала, что это эгоизм — считать, что он должен принадлежать только ей. Но в таком случае и она не обязана любить его одного. Ведь есть мужчины, которые тоже ей нравятся.

Правда, эти мысли одолевали ее недолго.

Она ушла в декретный и одновременно в академический отпуск. Потом родилась дочь. И жила исключительно дочерью, пока та не встала на ножки. Валера помогал, давал деньги, интересовался, как растет дочка, у которой были ее фамилия и его отчество. Они все еще оставались любовниками. Но что-то уже было не так. Он стал все реже и реже бывать у них, ссылаясь на занятость и необходимость заниматься сыновьями, которые так быстро и незаметно выросли.

Пока сидела с дочкой, окончила университет и решила, что возвращаться на прежнюю должность референта к Валере не стоит. Нужно начинать строить свою жизнь. Вернее, их с дочкой жизнь — так, чтобы ни от кого не зависеть. Отдала дочь в детский сад и пошла работать в газету, куда ее взяли на испытательный срок.

Написать об учителе Надеждине было ее первым редакционным заданием.

...К своим сорока по внезапному времени я пришел к выводу, что человек переоценивает себя.

Он настолько глуп, что считает себя умным.

Он настолько слаб, что кичится своей силой.

Он приходит в мир, бывший и до него, и наполняет его своими фантазиями. Которые постепенно утрачивают возможность реализовать, превращаясь в скучнейший рутинный опыт.

Грезы теряют свою неосязаемость и остаются в опыте, возлегшем на застывших грезах тех, кто пришел раньше: опыт предшественников им до одного места.

И между — непреодолимая разница: опыт помнит о том, какими бывают грезы, а те не ведают рутинность опыта.

В этом печальная разница поколений.

И вечная.

Опыт мечтает о грезах, а грезы бредят иллюзиями опыта.

...И все же каждый вечер, ложась спать, я стараюсь сбросить вериги опыта и обрести утраченные фантазии, чтобы вновь ощутить в себе легкость и смелость создателя своего мира. Чтобы созидать его, преодолевая цепкость опыта, ограниченность познаний, заземленность фантазий. Но грезы ушли безвозвратно вместе с юностью, передав эстафету прагматичным мечтаньям, и мой сегодняшний мир никак не формируется, не обретает гармоничную законченность, не парит над твердью...

Иногда я думаю, что виной тому — произошедшие вокруг перемены. Что по их вине я разучился грезить, потому что все радостное, окрыляющее осталось в прошлом. В стране, которой не стало. Теперь, познав новые идеи и отношения, я уверен в том, что та большая интернациональная и мощная страна, в которой я родился и прожил значительную часть своей жизни, на самом деле, была перенесена в прошлое из будущего — возможно, неблизкого. А это значит, что несколькими поколениями — дедов, отцов и моему — удалось побывать, пожить в будущем, познать не-

ведомое для большей части человечества. И так хочется, чтобы этот наш опыт не был забыт, извращен, оболган.

Мысль есть великая сила. Именно она строит или разрушает. И в зависимости от того, каких мыслей больше, и происходит созидание или уничтожение. Деды и отцы преимущественно созидали новое, хотя не обошлось и без разрушения старого. Деды созидали государство мечты, равенства, братства. Но прежде бездумно разрушили привычное, надоевшее. Отцы подхватили порыв созидания и усилили его; именно эта концентрация созидания сумела противостоять концентрации разрушительной энергии, которую собрали силы завистливые...

Вот куда я уношусь в своих мыслях, после того как говорю жене «спокойной ночи».

И пока не отправлюсь в царство Морфея или в астральный мир, пытаюсь понять, чем же живут знакомые мне представители поколения «младого, незнакомого»...

— Теперь о Пифагоре я знаю все.

— Так уж и все?

— Да, — самоуверенно заявила Галина, глядя с вызовом избалованной девочки. — Вообще это не один человек. Это историческая мистификация.

— Интересная версия. — Я усмехнулся. — Думаю, стоит ее обнаружить.

— А вы не иронизируйте. Даже если и был такой человек, то это совсем не значит, что теорему придумал он. И вообще — в Википедии пишут, что он создатель религиозно-философской школы пифагорейцев и все труды, приписываемые ему, возможно, принадлежат его ученикам. А еще, что он проповедовал учение о переселении душ, а разве это его учение? Об этом знали задолго до него. О реинкарнации есть в древнеиндийских Ведах, а они были написаны в шестнадцатом веке до нашей эры. А Пифагор жил в пятом. Вот так.

Она не скрывала, что довольна собой.

— Я понимаю, что теперь вы подготовились на «отлично». — Я подумал, что она еще совсем девчонка, как мои ученики. — А что вы еще почерпнули из интернета?

— О, там много написано о нем. — Помолчала и призналась: — Правда, я не все поняла.

— И что же непонятно?

— Про математику и особенно про гармонию сфер. Вот что вегетаринцем он был, понятно. И про переселение душ. Но это не его идея.

— Допустим. — И перешел на «ты». — А как тебе такие строки: *«В успокоительный сон не должно тебе погружаться, / Прежде чем снова не вспомнишь о каждом сегодняшнем деле: / В чем провинился? Что мог совершить? И чего не исполнил? / Перебери все в уме. Начиная с начала и после. / Радуйся добрым делам и себя укоряй за дурные»*.

— Он что, еще и стихи писал?

— Это «Золотые стихи» тех самых пифагорейцев.

— Ну да, у него были ученики, и они были или монахами, или аскетами, я не поняла. Это было в такой древности... Все равно его знают только из-за теоремы. Хотя я сомневаюсь, что это он ее доказал.

— Возможно, это сделали его ученики или ученик, но и в этом есть его заслуга.

— Я тоже вспоминаю своих учителей. Правда, не всех добрым словом.

— Но кого-то из тех, кого ты не любила, вспоминают добрым словом другие.

— А вас все вспоминают добрым словом и любят.

— Вы, Галочка, — я опять перешел на «вы», — у меня не учились и не знаете, как я бываю крут.

— Значит, я бы в ваших любимчиках не ходила.

— Почему так думаете?

— А я бы была двоичницей. — И долго не отводила глаз. А потом, словно что-то решив, сказала: — Нет, не была бы. Вы бы пробудили во мне интерес к математике, и я бы еще в школе узнала, кто такой Пифагор... А знаете что, задайте мне еще урок о ком-нибудь.

— Вам — урок?

Я даже растерялся.

— Ну да. А я напишу очерк «Уроки Надеждина», представляете...

— Не представляю. Но я не журналист — вам виднее. Значит, урок. — Я окинул ее взглядом, не шутит ли. Нет, лицо серьезное, внимающее. — Хорошо, тогда на выбор: Лобачевский или Перельман?

— Про Лобачевского я слышала. А вот про Перельмана...

— Подскажу. Григорий Перельман — наш с вами современник и соотечественник. Он — гениальный математик, доказавший недоказуемую гипотезу Пуанкаре, но для нематематиков он известен тем, что отказался от миллиона долларов.

— Тогда я лучше почитаю про Перельмана.

— Но вы мне расскажете не о нем, а о том, что он доказал.

Она задумалась.

— Опять что-нибудь непонятное? — Теперь она уже не была похожа на избалованную ученицу, а выглядела вполне взрослой озабоченной женщиной. — Ладно, займусь.

— Тогда до следующей встречи. Звоните, когда будете готовы.

Конечно, энергии у нее больше, чем у меня, но спринтер или стайер она на жизненной дистанции? На своем веку я встречал и тех, и других. Первые обычно начинали энергично, поражая окружающих способностями, опережая сверстников во всем, за что брались. Но быстро сгорали и превращались в посредственность. Вторые набирали медленно, не особо выделяясь, но зато их хватало надолго, и они достигали приличных высот.

Я не сомневаюсь, что человек способен аккумулировать жизненную энергию, которой так много в детстве и юности и не хватает в старости. С годами мы ее транжирим, и зачастую — почем зря. Но тот, кто сумел накопить ее больше и не разучился доставать из запасников памяти, тот дольше пребывает в счастливой способности воспринимать новое и радоваться жизни. Эта энергия хранится и передается исключительно с мыслями о светлом былом, случившемся, пережитом.

Но в беззаботном детстве и энергичной юности мы не только оставляем свои энергетические клады. Мы тогда же приобретаем опыт, который необходим для познания жизни в этом мире.

А он не всегда бывает радующим — и уже не накапливает, а забирает жизненную энергию...

С этим Перельманом — вернее, с тем, что он доказал — задача оказалась непростая. Но неправда, что блондинки глупы и ограничены, с этим она никогда не согласится, хотя на этой гипотезе Пуанкаре реально можно свихнуться. Похоже, Перельман и свихнулся. Иначе от миллиона не отказался бы...

Ей бы миллион долларов, она бы все свои проблемы решила. Купила бы хорошую квартиру. Или лучше дом, чтобы был свой участок, где они с дочкой посадили бы цветы, оранжерею сделали бы и загорали на зеленой лужайке... По миру бы ездила, в ту же Грецию, где Пифагор учил...

Странно, а отчего она не видит ни на лужайке, ни в Греции рядом собой Валеру? А вот Валериана (созвучно, но солиднее!) Павловича она взяла бы с собой в Грецию, ему, наверно, интересно было бы вообразить себя если не Пифагором, то одним из его учеников...

Отвлеклась. Миллион ей все равно не светит не только в долларах, но и в рублях. Лучше уж ломать голову дальше...

Попробуй пойми этого Пуанкаре: «всякое односвязное компактное трехмерное многообразие без края гомеоморфно трехмерной сфере»...

Каждое слово — шифр. У всех математиков мозги не так устроены, как у обычных людей. И у Надеждина, наверно, не так, хотя с виду — нормальный и даже интересный мужчина...

Ладно. Не отвлекаемся.

Хотя ничего не понятно.

Потом напишу когда-нибудь, как я распутывала гипотезу Пуанкаре...

Опять лезем в Википедию.

Гомеоморфизм, оказывается, — это «взаимно однозначное и взаимно непрерывное отображение топологических пространств»...

Ага, напрягаем извилины дальше... Топологические пространства для каждой точки — это «множество с дополнительной структурой определенного типа». А топология в свою очередь — «раздел математики, изучающий явление непрерывности, в частности — свойства пространств, которые остаются неизменными при непрерывных деформациях...»

Она выдохнула.

Ни черта не понятно.

Нет, Пуанкаре с Перельманом не для нее.

Они живут в параллельных мирах.

Неужели Валериан Павлович все это действительно понимает?

А почему Валериан Павлович? Он не так уж и стар. Не намного старше Валеры. Но умнее. И какой-то надежно-уютный, что ли... Наверно, потому, что занимается тем, что ему нравится. Вот с таким человеком ей было бы интересно жить. Не обязательно как с любовником, можно как с отцом.

Со своим родным отцом у нее связи никакой с тех пор, как он бросил их с матерью. Хотя живет он в том же городе, и она знает, что он женат и у него растет сын, ее сводный брат. Но мать вычеркнула его из своей жизни и ее заставила сделать то же самое. Это было нетрудно, она совсем его не помнит. Он работал водителем-дальнобойщиком и не так часто бывал дома. А когда бывал, отсыпался, ходил в гости к друзьям и знакомым, откуда возвращался, как правило, за полночь, а потом уже и по ночам не приходил, жил на два дома. Правда, когда она была совсем маленькой, она помнит, как он ходил с ней и с мамой гулять, и тогда им всем было хорошо. Но это было еще до школы. А ей порой так хотелось прижаться к большому и сильному... Но когда они с мамой ругались, она ненавидела его и желала ему самого плохого, даже смерти.

Об этом ей сейчас, когда сама стала взрослой, стыдно вспоминать. Теперь она знает, как непросто найти ту самую половинку, которая по замыслу Господа должна составлять с тобой единое целое. Одно время ей казалось, что такое единение у них с Вадиком. Но, оказывается, она себе это внушила. С Валерой?.. Нет, она не видела его своей половинкой. Он был изначально для нее просто уверенным и надежным, за которым не страшно было пойти. Он и сейчас оставался таким же сильным, настоящим мачо. Но для нее он был, прежде всего, отцом ее дочери; партнером, которого требовала физиология; галантным ухажером, тешившим самолюбие. Они никогда не говорили по душам, не показывали друг другу свои слабости, не высказывали сомнения.

А как порой ей хотелось выговорить все-все, что у нее в голове, с чем она сама с трудом справляется. Как хотелось почувствовать единение, не физическое, которое так быстро проходит, оставляя некий осадок приятного, но все же недостаточного соединения, нет, а слияние в том мире, где нет двух разделенных тел...

Надо же, Пифагор об этом когда еще знал...

Но этот урок не о Пифагоре.

...Все-таки чудак Перельман. Или не от мира сего. И как он сумел устоять перед соблазном? У него ведь, наверное, проблем житейских тоже немало. И дома своего нет. И по миру не поездил...

Что там про сферу у... как его... ах да, Пуанкаре?

Подведем итог, что она поняла.

Если перевести на общедоступный: есть раздел математики, изучающий свойства пространств, которые остаются неизменными при деформации. Допустим, пространство — это космос. И он неизменен, а в нем неизменна и планета. И мы... Но отображается одно из них на другое... Что отображается?

Ну все, голова кругом.

Она выключила компьютер и вышла на балкон.

Здорово, что все в этом мире так понятно. Вот дом напротив. Дворик внизу. Там дети играют. Это, наверное, те, которые арифметику не любят. И из них не вырастет какой-нибудь непонятный Перельман. Или Пуанкаре. Хорошо это или плохо? С одной стороны, замечательно, не придется никому ломать голову в будущем. А с другой, скучно будет жить...

Ну, мать, занесло тебя.

Она потянулась, приподнявшись на носочках, чувствуя в себе упругую силу и наслаждаясь этим солнечным днем, сегодняшними и завтрашними заботами и открытиями, своим существованием в этом мире; собрала волосы в длинную прядь и подумала, что, может быть, ей стоит носить косичку?.. А что, прикольно. Никто их сегодня не носит. Во всяком случае, те, кого она знает. А у нее будет. А в косичку — бантик. Или два бантика в две косички. И к Надеждину на урок...

Ладно фантазировать, нужно сделать простое интервью и не заморачиваться.

В этой Галине есть, надо признаться, плохо знакомое настоящее и неизвестное, но манящее будущее.

Настоящее в ней мне не нравится и даже отталкивает, но ее будущее, большую часть которого мне не дано знать, манит.

Грешен, начал было думать о ней как о любовнице, но что-то не скла-

дывалась. Фантазии о возможной близости казались неуместными и нисколько не волновали. Увлечение в старости — это не любовь, а воспоминание о любви. Другое дело, если бы она была дочерью. Я всегда мечтал о дочери, но у нас родился сын — и больше Бог детей не дал. Я надеялся, что сын будет помощником и продолжит начатое мной. Сначала хотел видеть в нем вундеркинда, а когда понял, что Господь не наделил сына очевидными талантами, самонадеянно решил, что сам сделаю из него хорошего учителя.

Во взглядах на его будущее мы разошлись с женой. Она, будучи врачом, почему-то считала, что самые востребованными и обеспеченными при капитализме будут юристы. Уже наступило время беззакония, и ей, как любой женщине, хотелось защиты. Но сын неожиданно для нас выбрал профессию военного. Правда, в летчики, как хотел, не попал, здоровье подвело, поступил на земную специальность, но при авиации: обслуживание самолетов. Сейчас он уже заканчивает училище, через полгода станет лейтенантом, начнется служба. Куда она его, подневольного человека в погонах, забросит — неведомо пока никому. Но жена предполагает, что не на другой край страны. И надеется, что он не станет тянуть с женитьбой, а потом и с внуками. Хотя насчет своего будущего он ничего не говорит. Сказал только, что девушка у него есть.

Судьба сына вырисовывалась и, в принципе, нас с женой устраивала. Теперь уже было очевидно, что самая гарантированная работа с хорошей оплатой — именно у военных. Единственный минус этой профессии — отсутствие свободы в выборе места жительства. Это на взгляд жены. На мой же взгляд — это необходимость подчиняться каждому, кто выше тебя по званию. Правда, из своей службы, а я отслужил после института год рядовым, я вынес только добрые воспоминания. Служил помощником замполита, и больше занимался стенгазетой и оформительскими работами, и ни дедовщины, ни самодуров-командиров не знал.

И вот теперь, когда пришло время передавать свой опыт, делиться своими находками в непростом умении понимать подрастающие поколения, оказалось, что передавать-то его некому. Нет, рядом было несколько молодых коллег, и я пытался делиться с ними, но скоро понял, что им это не нужно. А невестребованный опыт всегда давит, жаждет выхода...

Вдруг мелькнула нелепая мысль: а что если эта журналистка окажется способной понять не только меня, но и математику? Как она сказала: «уроки Надеждина». А почему бы и нет... Вдруг она окажется самой талантливой ученицей... Хотя с Перельманом она явно поторопилась перепрыгнуть несколько уроков, а я, надо признаться, поддался ее чарам. Это моя ошибка как учителя.

В молодости привлекает осуществимое близкое будущее. В старости — неосуществимое и далекое. Не напрасно Господь с годами дарит дальнорочность. Меня очень греет исполнение человеком, его бессмертной душой, космической миссии. То, что было понято древними и изложено в мифах. Я все более склонен считать, что главное знание о смысле существования человека было изложено в древнеиндийских рукописях. Читая их, я окунаюсь в бесконечную бессмертную эволюцию жизни с момента зарождения из Ничего или, как считают астрономы, из Большого Взрыва, начинаю ощущать свою, пусть и космически мизерную, но все-таки причастность к Сотворению Мира. В этом бесконечном и вечном мире я всего лишь человек — низшая ступень в Божественной Иерархии, но временами я ощущаю, как нисходит на меня Божественная энергия. И

тогда я остро понимаю, что помимо прошлого, где хранятся накопленные мной запасы, есть еще и будущее, где подобных запасов немерено. Но, увы, проникнуть туда человеку не дано. А вот в прошлое...

Мне грезится, что я знаю о своих прошлых приходах в этот мир. В Египте древнем и где-то рядом с Омаром Хайямом. У души есть свои тайны, к которым доступа нет. Но, тем не менее, порой что-то приоткрывается.

Вот в пору угасания египетской цивилизации и довелось мне проходить урок любви...

Вообще все уроки, которые мы проходим в наших жизнях, — это уроки любви, ибо только любовь способна созидать и возвышать. Причем любовь не только к женщине, но и ко всему существующему. Ко всем Божьим твореньям.

Что-то очень важное было с моей душой, находящейся в ином — естественно, человеческом — одеянии на берегах Нила. Там я был участником событий, отрицающих любовь, или наблюдал за ними. Я любил, но меня не любили. У правителя нома, тотемом которого был крокодил, богиней-покровительницей (богиней радости и любви, материнства и плодородия Хатхор) была дочь. Ее звали Мерит, что значит — Возлюбленная. Она была легкой и прекрасной, как сама богиня. Она любила кормить священного крокодила, который жил в бассейне во дворце номарха. Я был путником, забредшим туда. Или же гонцом, посланным к ее отцу с поручением. В это время мы, египтяне, собирались с силами, чтобы изгнать гиксосов, чужаков, захвативших наши земли. Я был гостем, и ко мне отнеслись, как к гостю, не спрашивая, когда я уйду и не интересуясь моим прошлым. И я был не намного старше юной Мерит, маслины глаз которой поразили меня с того мгновения, когда взгляды наши встретились и (на мгновение длиной в вечность) — слились. Но это почувствовал только я. В ее взгляде было только любопытство.

Я все тянул и тянул со своим уходом, стараясь как можно чаще встречаться ей в комнатах дворца и в тенистом саду. Не пропускал ритуала кормления крокодила. Но уже никогда не встречал ее взгляда. И чем больше она не замечала меня, тем сильнее я желал ее, не представляя дальнейшей моей жизни без нее. Ничего за стенами этого дворца теперь меня не интересовало. Все мое было здесь.

Нет, номарх никогда бы не отдал мне ее. У меня было более низкое положение, хотя и приближенное к фараону. К тому же у него уже была договоренность об объединении с другим номом. Там у номарха был сын, ее ровесник. Но тем не менее, однажды ночью я пришел к ней, чтобы получить то, что хотел, или же уйти к Осирису...

Что было дальше, мне сегодняшнему не дано знать. Может быть, я стал зятем номарха. Но вероятнее всего, меня бросили в бассейн крокодила...

Что же касается уже не столь древней Персии, то это было время размышлений, навеянных моим Учителем, ибо я помню себя именно учеником того, кто в свою очередь был учеником самого Хайяма, в то время уже изгнанного из двора султана и из Исфахана. У Учителя была дочь Паризад — Красавица. Она действительно была красавица, я видел ее без паранджи, потому что я ей нравился и она хотела стать моей женой. Мой Учитель тоже был не против. Он боготворил свою дочь и потакал ей во всем. Но мне гораздо интереснее было проводить время за разговорами с ним или за книгами. Все шло к нашей свадьбе, к обыденной жизни пос-

ле, когда жена начнет рожать мне наследников, расплачиваясь за это своей красотой и свежестью. Нет, я не скажу, что мне неприятно было прикасаться к ней или смотреть на ее красивое лицо. Но я ничего не чувствовал в эти мгновения, а лишь желал поскорее уйти от нее. В такие минуты я без устали твердил строки учителя учителей Хайяма: *«Чье сердце не горит любовью страстной к милой, — / Без утешения влачит свой век унылый, / Дни, проведенные без радостей любви, / Считаю тяготой ненужной и постылой»*. Я не хотел «влачить свой век унылый» и потому в один из летних знойных дней не пошел к своему Учителю, а уехал далеко от родного Исфахана в Самарканд. Ведь не мог же я спорить с мудрым Хайямом: *«Я думаю, что лучше одиноком быть, / Чем жар души “кому-нибудь” дарить. / Бесценный дар отдав кому попало, / Родного встретив, не сумеешь полюбить»*.

Это мои прошлые уроки. А каков урок этой жизни, мне пока не дано знать.

Как и ей...

— Ну что? Как наш урок?

Ей нравится, когда на нее именно так смотрят: с внимательным интересом равного, в котором нет ничего от превосходства самца. Да и просто он ей нравится. Добрый. Умный. Знающий себе цену, но не демонстрирующий это. Она бы хотела этому научиться. Потому что знает за собой женскую слабость покрасоваться.

Она глубоко вздохнула, раздумывая, как лучше ответить, чтобы не выглядеть блондинкой, которую оценивают не по уму, а по внешности.

— А почему он отказался от миллиона?

Сказала и поняла, что ляпнула совсем не то, что от нее ждали. Торопливо добавила.

— Я поняла, что все в космосе взаимосвязано и едино и в то же время индивидуально.

Сказала, сама до конца не зная, как свяжет это с математикой, Перельманом, Пуанкаре. Смотрела на Надеждина, ожидая его реакции, но он молчал, с улыбкой глядя на нее, и она добавила.

— И никто никому не мешает.

— Любопытная трактовка, — продолжая все так же улыбаться, сказал он после паузы. — Хорошо, давайте мы не полезем в ученые дебри. Зачем вам гипотеза Пуанкаре или геометрия Лобачевского? Вы знаете стихи о математике?

Она удивленно посмотрела на него.

— Нет... Не помню. — И уточнила. — Не знаю.

— А их немало. Вот хотя бы такой:

Пребудет вечной истина, как скоро
Ее познает слабый человек!
И ныне теорема Пифагора
Верна, как и в далекий век.
Обильно было жертвоприношение
Богам от Пифагора: сто быков
Он отдал на закланье и сожженье
За света луч, пришедший с облаков.
Поэтому всегда с тех самых пор,
Чуть истина рождается на свет —
Быки рвут, ее почуя, вслед.

Они не в силах свету помешать,
А могут лишь, закрыв глаза, дрожать
От страха, что вселил в них Пифагор.

— Это стихотворение Игоря Шандры. Он тоже наш современник, как и Перельман.

— Я не совсем поняла...

— Да, оно несколько сложновато. Есть более понятные:

О, пластмасса угольников красных,
И витое барокко лекала,
Геометрии стройная ясность,
Что со школы меня привлекала!
Медианы и хорды в тетради,
И изящные сны Пифагора!
Я родился и рос в Ленинграде,
Где учил геометрии город.
Предъявлял мне Васильевский остров
Параллели в ближайшей округе.
Пять углов вспоминаю я острых
И каналов гранитные дуги.
Возвращала мне каждая осень
Полукруглое арок свеченье
И лимонную улицу России,
Что квадрат образует в сеченье.
В этом мире, где все по-другому,
Где и клином не вышибешь клина,
Я тоскую, как странник по дому,
По наивной системе Эвклида.
Там ответы всегда беспристрастны,
Доказательства четкие строги,
И прямые уходят в пространство,
Словно рельсы железной дороги.

Я замолчал, пристально глядя на нее и боясь увидеть пустоту в ее глазах.

— Здорово, — выдохнула она, и я вместе с ней. — Я недавно была в Петербурге, все правильно, дуги, углы... А кто автор?

— Александр Городецкий.

— Не знаю.

— Но песню про атлантов, которые держат небо...

— Слышала. Вспомнила! — Она вздохнула. — Он, наверное, математик. Или поэт, влюбленный в математику.

— Он — геофизик, доктор геолого-минералогических наук. И бард.

Я не хотел, чтобы она считала, что это стихи исключительно о любви к математике, и, глядя ей в глаза, негромко стал читать:

Расчлененные в скобках подробно,
эти формулы явно мертвы.
Узнаю: эта линия — вы!
Это вы, Катерина Петровна!
Жизнь прочерчена острым углом,
в тридцать градусов пущен уклон,

и разрезан надвое я
вами, о, биссектриса моя!
Знаки смерти на тайном лице,
угол рта, хорды глаз — рассеки!
Это ж имя мое — АВС —
Александр Борисыч Сухих!
И когда я изогнут дугой,
неизвестною точкой маня,
вы проходите дальней такой
по касательной мимо меня!
Вот бок о бок поставлены мы
над пюпитрами школьных недель, —
только двум параллельным прямым
не сойтись никогда и нигде!

И замолчал.

И она молчала.

Мы переживали магию слов каждый по своему. Параллельные прямые или все же пересекающиеся, я не знал. И надеялся, что она тоже.

Наконец я прервал затянувшееся молчание.

— Земная любовь тоже передается терминами математики. Это стихотворение Семена Кирсанова.

— Вы читаете эти стихи своим ученикам? — спросила она, все еще повторяя про себя: «Только двум параллельным прямым не сойтись никогда и нигде!» И думая, что как же это обидно и в то же время здорово — быть двумя параллельными прямыми...

— Иногда читаю, — сказал я, опять увидев в ней растерянную, не осознающую своего очарования школьницу, вдруг сменившую молодую, но уже немало пережившую, потратившую энергию на приобретение не всегда нужного опыта, женщину. И подумал, что все-таки все мы до конца своих дней остаемся детьми.

И, понимая, что сейчас творится в ее душе, поспешил на выручку.

— А знаете, Галина, мне понравилась ваша идея насчет «Уроков». Я думаю, вы сможете ее реализовать...

На этот раз, засыпая, я видел лицо с распахнутыми внимающими глазами, которых давно уже не видел ни у жены, ни у своих учеников. И грезилось, что это неведомое будущее смотрит на меня, внимает мне и нуждается во мне...

ЭТОТ МИР

Эту фразу часто повторял дед, но отец никак на нее не реагировал, и матери было некогда спорить — они всегда возвращались очень поздно (потому что нужно было «делать деньги»), — и слушать деда приходилось ему...

«Искушения правят миром...»

Не понимая, он запомнил ее.

Дед был основателем их «семейного дела» (так говорила мама). Когда-то в дремучей древности, еще до его рождения, дед создал это «дело», которое теперь ежедневно требовало к себе и отца, и мать. И оно было важнее, чем и он, и дед, и все остальные; и они с дедом целые дни прово-

дили вдвоем, если не считать сестру Катьку и няньку Дашу. Но Катька была совсем маленькая, а няньке некогда было ни разговаривать, ни слушать, и дед, сидя на веранде в тени раскидистого абрикосового дерева, делился приходящими мыслями с внуком, иногда повторяя, что четыре года — самый подходящий возраст для того, чтобы воспринимать мудрость этого мира. Воспринимать и не пытаться перевернуть мир. А вот потом, с каждым годом продвижения по времени своей жизни, каждый ребенок, неизбежно превращаясь во взрослого, утрачивает это качество и вместе с ним — объективное осознание прожитого.

Иногда дед говорил сложно, и тогда он даже не пытался слушать, занимаясь своими делами. Когда эти дела уводили его за дом или в глубину сада, требовательный окрик заставлял возвращаться, если не в дом, то хотя бы туда, где его видел дед.

Обычно на окрик выходила и Даша. Она окидывала взглядом черное от загара тело деда, сад, расслабленно изнывающий под жарким солнцем, полянку перед домом, выцветшее небо, зыбкую в поднимающемся мареве ленту дороги за забором, что-то еще, ведомое и видимое только ей, и молча, или же напомнив деду, что за ребенком нужно следить, тяжело переваливаясь, уходила в комнату, потому что Катьке еще рано было гулять, она все еще созерцала потолок и только-только начала хватать короткими пальчиками развешенные перед ней погремушки.

«За детьми нужен глаз да глаз», — назидательно повторяла она, прикрывая дверь.

— Вот видишь... Женщина... — помолчав, запоздало произносил дед. — Она не задумывается ни о прошлом, ни о будущем. Она живет в этом мире. — Он окидывал взглядом увлеченно строящего что-то из песка внука и продолжал: — А что ей думать? Своих детей никогда не было, мужа тоже. Работала инженером. В молодости. Конструктором. Вместе с твоей бабушкой. — Дед вздыхал. — Бабка у нас — путешественница... Мы с ней в вагоне и познакомились. Она в стройотряде проводников была, а мы ехали на место дислокации нашего отряда. Ты, естественно, не знаешь, что такое стройотряд. И вообще, тебе невдомек, что когда-то я был молодым, как твой папка, и даже моложе. Как ты... Правда, я тоже не помню себя в твоем возрасте. А вот как с бабушкой познакомились, помню. И многое другое...

Он замолчал, глядя перед собой, словно пытаясь разглядеть это неведомое прошлое, и после паузы продолжал:

— Мы в молодости жили чувствами. Потому что твои предки, то есть наши родители, недолюбили. На их долю выпали тяжелейшие испытания. Каждому поколению Богом отпущено прожить по-своему, познать свою грань бытия. Вот им даны были война, разруха, восстановление. Но и грандиозные стройки, энтузиазм, романтика. И желание жить ради будущего, ради детей. Ради нас. А мы просто любили жить. Наверное, за них тоже. И женщин любили. А вот твой папка себя любит. Он из поколения контуженных обществом потребления.

Дед вставал, так же, как Даша, пытался разглядеть за забором что-то свое и, неторопливо ставя босые, черные от загара ноги, спускался с веранды по лестнице в сад.

Возле внука останавливался, с любопытством разглядывал бесформенные песчаные кучки, затем шел по дорожке, выложенной из плитки, к калитке, приоткрыв ее, озирался размягченный солнечными лучами и пахнувший битумом асфальт и возвращался обратно. Но на веранду не

поднимался, проходил по траве между яблонями, увешанными краснеющими плодами, мимо уже обобранной черешни и скупых на урожай груш. Остановливался, наблюдал за целеустремленными пчелами, находил взглядом внука и продолжал:

— Пчела вот тоже трудится. Но разумно. Летом активно, а зимой отдыхает. И земледелец так же. Это естественный цикл. Изначальный, от Бога... А в городах все крутятся с утра до вечера круглый год. Ни на что другое ни сил, ни времени не остается. А нынче так и не до любви. И годы летят. Трудятся, крутятся, производят, а ради чего? Ради себя и ближнего? Чтобы ему и себе полезное сделать? Нет, ради денег... А потом тратят на суетное, неважное и ненужное. Чем цивилизованнее общество, тем зависимее человек, тем больше он работает на унитазы и свалки. Как твои родители. А ведь когда дед твой диссидентствовал, он не так все представлял. И когда, наконец, можно стало заниматься тем, чем хочешь, наступило славное время, это правда. Но оно было слишком коротким. Была вера в гармоничное будущее. Почти такая же, как у наших родителей — твоих прадедов. А что такое счастливое будущее? Это свобода от необходимости делать то, что не хочешь...

Солнце припекало голову, и он, поправив внуку съехавшую панаму, поднимался на веранду, вновь усаживался за стол, на котором из-под бронзового бюста классика русской литературы пыталась вырваться на вольный ветер стопка бумаги.

— Вот и Дарья тогда развернулась, бюро открыла, конструкторское. Но конструкторы скоро стали не нужны. Многое стало ненужным, а иное понадобилось. И характеры иные, не любвеобильные. Кто в коммунизм верил, тот никак не мог понять, что происходит. А кто лишь по должности к нему вел, сориентировались быстро. Первые все еще о стране, народе, всеобщем счастье думали, а вторые о себе заботились. Первые, как Дарья, вскоре на обочине остались, а вторые далеко уехали... Правда, еще были такие, как твой дед, которые пешочком, пыль глотая от проезжающих, все-таки вперед продвигались. А вот Дарья... Не дал ей Бог понять, что происходит. Зато детей понимает. И любит. Хотя, опять же, Бог своих не дал... А вот бабушка твоя путешествовать любит. А мама что любит?..

Время близилось к полудню, Катька засыпала, выходила Даша, загоняла внука в тень, ставила перед дедом большую кружку холодного кваса, ею же приготовленного, присаживалась рядом, одним ухом прислушиваясь к тому, что творится за занавесками, раскачиваемыми ветерком, другим внимала одновременно и жужжанию пчелок, и фантазиям внука, и бормотанию деда.

Она знала, что тот ничего нового ей не скажет, потому что они были людьми одного поколения и одного настроения. Она уже давно жила вместе с ним и своей подругой, уехавшей нынче развезаться в менее жаркие места, с их дочерью и пришедшим некогда в дом мужем вдруг выросшей Аленьки, с их стремительно возникшими из будущего детьми, с которыми она провела гораздо больше дней, чем родная бабушка. У нее было время и влюбиться в этого старика, и начать обожествлять его, и ненавидеть, и внимать, и отвергать... Теперь пришло время впитывать, не замечая ни его, ни остальных, ни окружающее, кроме нуждающихся в ее помощи детей.

Почти всегда в одно и то же время возле калитки останавливалась машина. Приезжали папа и мама. Папа сразу же раздевался до трусов, обливался в душе водой и, откинувшись в плетеном кресле, с очевидным удовольствием потягивал квас, перелистывая газеты, привезенные с собой. Иногда он фыркал, многозначительно тянул «н-да-а...», и тогда дед откладывал в сторону ручку, снимал с носа очки и выжидающе смотрел на него. И, ничего не услышав, не торопился отводить взгляд, пытаюсь понять так и не ставшего близким человека. Он не мог постичь, как этот вечно дремлющий, или жующий, или потягивающий пиво мужчина мог нравиться его дочери. Хотя и в этом он не был уверен: порой среди ночи он просыпался от несдерживаемых обидных слов в соседней комнате, из которых сделал вывод, что его дочь так же, как и он, ждет от этого человека тепла, поддержки, наконец, любви, но вынуждена сама отдавать и тепло, и любовь. Зять не проявлял интереса ни к дому, ни к саду, ни к развитию дела, предпочитая разговоры об особенностях путешествий в дальние страны или о достоинствах кухни того или иного ресторана...

Мама первым делом трогала лоб сына, потом проверяла Катькин лоб и все остальное и выслушивала Дашу, на ходу снимая блузку и юбку и накидывая тонкий халатик. Потом, пока Даша накрывала на стол, уходила в солнечный угол сада и там ложилась на раскладушку, подставляла жарким лучам все никак не набравшее желаемой смуглости тело. Как правило, очень скоро просыпалась Катька и требовала маму до тех пор, пока та не брала ее на руки и не садилась вместе с ней к столу, и от этого за обедом никто ни о чем не говорил, а все наблюдали за Катькой и слушали только ее «дай, дай...» Потом мама с Катькой учились ходить по скрипучим половицам веранды, Даша убирала посуду, папа опять шел под душ и натягивал на себя брюки, рубашку и галстук, мама переодевалась, превращаясь в строгую и чужую тетю, Катька капризничала, машина стремительно уезжала, и наплакавшаяся Катька засыпала под прищептывания-припевы Даши. Дед вновь придавливал листы бумаги классиком литературы, а он расставлял вдоль пахнущей смолой стены веранды разномастные игрушки, творя лишь ему подвластную историю.

— Ты, несомненно, прав, — вдруг произнесил дед, постигнув, наконец, основные принципы устройства мира, создаваемого внуком, в котором главенствовало все побеждающее добро. — Ты пока мудр, но куда все уходит потом? Искушения, вот что уводит нас от мудрости. Мы поддаемся им, становимся рабами страстей. Начинаем служить преходящему... Нет, я не осуждаю других. Я сам такой же, как все остальные. Я постигал этот мир так, как его познавали до меня и как будешь познавать ты. И моя жизнь имеет свой смысл. И жизнь твоих предков имела свой. И главное, чем дальше в прошлое, тем разумнее... Они не тратили силы на производство ненужного. Они жили естественными заботами. А вот чем живут твои родители?..

Тяжело поднимая массивные ноги, выходила Даша, подносила ладонь ко рту, приказывая замолчать, и под жалобный стон половиц уходила в сад и внука, и деда, и сама садилась на нижнюю ступеньку, в зримо разрастающуюся полосу тени.

— В сущности, человеку так мало нужно, — по инерции еще продолжал говорить дед, уходя в дальний угол сада, откуда слов его разобрать было почти невозможно. — Утолить голод да защитить тело от жары и холода. Насытившись, пребывая в комфорте, человек должен был предаваться размышлениям об этом и иных мирах. Но пища из неабсолютно необходимой

потребности превратилась в повседневные заботы, одежда — в культ, обслуживание плоти — в смысл существования, а размышления... Для них совсем не осталось места.

— Что ты там бормочешь? — негромко спросила Даша, поглаживая большие икры, изборожденные узелками вен. И, не ожидая ответа, глядя на внука, толкающего игрушечный самосвал, добавила со вздохом: — Что старый, что малый...

День уходил, как уходило лето, уходили годы. Не обращая никакого внимания на сожаления или нежелание людей.

— Нам все-таки повезло, мы знали, что такое любовь. У нас была возможность выразить себя. А что у них? Беличье колесо? Безумная гонка?

Дед остановился около абрикосового дерева, на котором висел единственный, начинающий румяниться плод, коснулся ворсистой поверхности пальцами, хотел сказать, что даже этот плод требует длительных размышлений, но, глядя на него, каждый прежде всего думает о его вкусе.

— Пусть висит! — услышал он голос Даши и взглянул на ее оплывшее тело, давно уже утратившее и вид, и вкус, и, может, поэтому размышлять о нем было гораздо проще, чем о плоде...

Он вернулся к дому, присел на ступеньку над Дашей. Скользнул взглядом по ее собранным на затылке крашеным волосам, задержал его на напряженно выгнувшемся — самосвал с трудом преодолевал песчаную дюну — смуглом тельце внука и надолго остановился на муравьиной веренице, измученной и одновременно постоянной, суетной и вечной, порождающей и любопытство, и уважение, и сожаление. Движущаяся живая «строчка» пересекала вытоптанную дорожку, соединяя затерявшееся в траве муравьиное подземелье и маленькое отверстие, уходящее под фундамент. По-хорошему, надо было бы заделать это отверстие. Если муравьи заведутся в доме, трудно от них избавиться. Но тогда прервется эта, вселяющая в конечном итоге оптимизм, цепочка...

Грузовик преодолел дюну, быстро покатил по дорожке и вдруг замер. Внук, насколько не заботясь о чистоте трусов, лег на пыльные кирпичи, разглядывая суетливый поток.

— Встань! — раздался голос Даши. — Нечего валяться на земле. Хочешь полежать, пойдём, я тебе постелю.

Она медленно, с трудом распрямляя ноги, поднялась.

— Не хочу, — капризно произнес внук и, забыв о муравьях, покатил дальше самосвал.

— Искушения и ограничения, — сказал дед. — Пряник и кнут с первого мгновения и до последнего.

— Следи за детьми, — строго произнесла Даша. — Посматривай за Катенькой, я прилягу.

Она ушла в дом. Проскрипела кровать, и почти сразу из окна донеслось похрапывание, отчего вдруг и на деда, и на внука навалилась дремота, но первый не мог себе позволить расслабиться, обремененный заботой о потомках, а второй — оттого что не хотел отказаться от игры.

Дед поднялся на веранду, опять сел за стол, отставил в сторону классика, занес ручку над непорочным листом, задумался...

— Нет, не созрел я для мемуаров. — Поставил классика на место. — Летом на воздухе славно. В офисе от кондиционера выхолощено. Ни звуков, ни запахов. Безвкусице.

Он переставил к перилам кресло-качалку так, чтобы был виден весь сад; сел, стал наблюдать за внуком, за жужжащим неповоротливым шме-

лем, изучающим перила веранды, за ненароком залетевшей стрекозой; опять за внуком, за невесть откуда взявшимся испуганным (одно на весь небосвод) облачком; за соседским рыжим котом, тайно пробирающимся вдоль забора; за головами и концами удочек мальчишек, идущих за калиткой; за перечеркивающим горизонт следом от самолета; за внуком, опять за шмелем, все еще не определив, по какой такой надобности он вьется возле колышущихся занавесок, за которыми громко дышала Катя-ка, и окликнул внука.

— Посмотри, проснулась сестра или нет.

Тот неожиданно охотно взбежал наверх, оставив перевернутый грузик на полдороге, постоял у кровати, пытливо разглядывая пухлое личико сестры, голубые бусинки глаз, изучающие его, дождался, пока гримаса превратится в крик, и сообщил:

— А она проснулась.

И все иные звуки куда-то исчезли, радостно закачалось освободившееся кресло, дед склонился над Катюшкой, не зная, что делать, но появилась Даша, и повторилось все: замена пеленок, прогулки с внучкой по саду, пока Даша готовила ужин, игры втроем, закончившиеся слезами Катюшки, выговором Даши и сменой постов: дед — у плиты, Даша — с детьми. Потом — кормление Катюшки, ее зыбкое, капризное засыпание, опустившийся парной вечер, завершающий еще один временной отрезок короткой дистанции между двумя мирами; вот уже и внук довольно засопел в своей кровати, и они остались с Дашей вдвоем на веранде, освещенной неяркой лампочкой.

От дороги, за которой была речка, потянуло бодрящей прохладой, заверещали сверчки, беззвучно заскользили через освещенное пространство летучие мыши.

Там, где ночь не изувечена светом, небо полно звезд. Смотреть на них и заманчиво, и боязно. Представить, что в этом безбрежье счастливо обитают души, — невозможно. Гораздо понятнее и ближе отдающий тепло асфальт, далекая музыка (у речки тусуются подростки), заполошный, с края на край (кто-то пьяненький домой возвращается) собачий лай, лучи фар... Приехали родственники.

— Привет, пап.

Дочка чмокает в щеку, от нее пахнет вином и духами.

— Идем домой, у нас новость есть.

Зять бурчит что-то условно-приветливое, открывает ворота, загоняет во двор машину.

— Что за новость?

Он пытается догнать дочь, но та исчезает в доме, шепчется с Дашей, переодевается. Даша выносит ужин и неожиданно выставляет на стол фужеры.

— А что, у нас праздник?

Но вопрос остается без ответа.

Зять фыркает под душем: у него что-то с обменом веществ, он потеет как загнанная лошадь, то ли от жизни, то ли от жары. Потом появляется и он, садится за стол, стул под ним крикает: зять нехуденький, потирает руки, непривычно бодрый, довольный. Но с зятем у них отношения не совсем родственные, поэтому ему вопросов он не задает, ждет дочь.

Наконец выходит и она. Даша накладывает им в тарелки, пододвигает бокалы. Зять наливает. Вино темно-красное, пахучее.

— Пап, мы кардинально меняем жизнь, — произносит дочь и тороп-

ливо добавляет: — Мама в курсе, мы просто раньше времени тебе не сообщали. Но ты ведь всегда говорил, что в мире слишком много соблазнов и пустой суеты...

Он отодвинул бокал, предчувствуя, что новость может его огорчить.

— Ты и сейчас так считаешь? — Дочь ожидающе подалась к нему.

— Я говорил об искушениях.

— Это одно и то же... И мы решили разорвать этот порочный круг.

Мы переезжаем...

— Переезжаете?

— Мы все переезжаем. В деревню. В глушь. Как говорил поэт... Мы будем жить, подчиняясь естественным законам. Ты же мечтал об этом.

Он не сразу понял, о чем она, если они и так живут почти в деревне и в то же время рядом с городом. Это удобно им, хорошо ему, замечательно внукам.

— А разве...

Он не закончил, она перебила:

— Мы продали бизнес. И мы теперь все свободны. И можем, наконец, осуществить наши желания.

— Что продали?

Бокал соскользнул со стола, но звука бьющегося стекла он не услышал.

— Пап, ты что, расстроился? — Ее глаза испуганно сузились. — Мы купим кусочек земли, где будет роща и речка, построим большой дом. И будем все вместе, рядом. Как ты хотел.

— Как это продали?

— Ты был прав, большинство из того, что сейчас производится, — функционально ненужные вещи. — Она бросила взгляд в сторону мужа.

— Мы думали, что вы будете рады, — вставил зять.

— То, что делал я, не относится к ненужным вещам, — наконец произнес он. — Я столько лет с таким трудом все создавал... Я оставил вам отлаженное, перспективное дело...

— Пап, ты недоволен? — Дочь удивлялась искренне. — В последнее время ты только и говорил о никчемности наших занятий, о том, что мы неоправданно много времени уделяем суете, забыли о детях. Ты же сам убедил нас, что, если ничего не менять, мы просто пробежим по жизни, ничего в ней не поняв и не ощутив ее вкуса. Ты повторял, что общество потребления — это тупик в развитии и не стоит ускорять собственными усилиями приближение конца. Разве не так?

Дочь ждала ответа. Он видел ее растерянное лицо и вспоминал, что, действительно, говорил об искушениях, которые уводят от главного, от постижения предназначения этой жизни. И о том, что в обществе, в котором им выпало жить, человек утрачивает последние крохи свободы, подменяя ее суррогатом развлечений, становится рабом примитивных страстей, теряет способность смотреть в звездное небо.

Но он помнил и многие годы, в течение которых создавал свое дело. Он помнил, что оно началось в эпоху пустых магазинных прилавков, застоя и повального дефицита, но был энтузиазм и жажда братья за все, что нельзя было делать вчера. Помнил, как пришло осознание того, что не государство содержит тебя, а ты — государство в лице сонма всяческих чиновников. Затем пришли годы произвола, обмана на всех уровнях, в любых масштабах и формах, разбой на дорогах, необузданный разгул новой власти. И он, на ходу учась, словно лодман, вел свое «судно» по

непредсказуемому и абсолютно неизвестному ему фарватеру, вместе с обшивкой оставляя на встреченных препятствиях часть собственного здоровья, сил. И вывел...

И разве только ради денег он жил все эти годы?.. Поэтому и боялся за дочку, зятя, ему казалось, они уже служат бездушному идолу наживы, что ничто более в жизни их не интересует, что они не устояли перед искушением бездумно, по-животному, прожить отпущенное Богом...

Выходит, он был неправ?

Значит, он должен радоваться?

Но почему-то радости не ощущает. Может, оттого, что теперь, когда ему вдруг захочется, он не сможет пройти по коридорам, наблюдая из-за стеклянных перегородок, как трудятся на своих рабочих местах сотрудники фирмы, бывшей некогда его делом?

— Это неожиданно... Вероятно, общество пришло — не без моей, кстати, помощи, каюсь, — к тому, каким оно стало. Но у каждого человека должно быть свое дело. А есть ли оно у вас?

Он посмотрел в глаза дочери и вдруг увидел в них лучики, которые давно уже не появлялись, и ощутил ее радость и веру в нечто славное впереди.

— Есть, папа, — сказала она. — У меня есть.

Он взглянул на зятя, но тот, обхватив бокал большими белыми ладонями, смотрел в черноту ночи.

Он поднялся из-за стола, обошел Дашу, вытирающую место, где разбился бокал.

— А я так рада, так рада, — сказала Даша, глядя на него. — Теперь можно и натуральное хозяйство завести, и сконструировать что-нибудь интересное, для души...

И это «для души» заставило его улыбнуться, и дочка заметила эту улыбку, выдохнула:

— Ну, слава Богу, а то я уже...

— Да ладно вам, продали так продали. Все, что ни делается, как говорила твоя прабабка, — все к лучшему, — как можно бодрее произнес он. — Об остальном завтра утром поговорим. Пошел я спать.

Он прошел в свою комнату, не включая света, не раздеваясь, прилег на кровать, привыкая к новой реальности...

Однажды журналист задал ему вопрос, на который тогда он даже не стал искать ответа и который теперь вспомнился: почему революционерами, как правило, становятся люди обеспеченные, достигшие чего-либо в этом мире. Чего им не хватает?.. И действительно, отчего он, по меркам окружающих, достигший благ, настроен против общества, в котором живет? Чего ему не хватает?..

И вдруг нашел ответ.

Не хватает ощущения души.

Нет, он ее чувствовал, но совсем крохотную, загнанную в дальний угол, обложенную условностями и соблазнами. А когда-то, даже в бурные, штормовые годы, душе не было так тесно. Оттого и смог он тогда найти фарватер... А потом пришли времена, когда нужно было просто «делать деньги». Это было скучно, и он без сожаления передал заботы детям.

И еще вспомнился тост, который все чаще и чаще звучал в последние годы. Это было пожелание «чтобы душа развернулась...», пожелание, прежде всего, себе.

Ведь оттого, что душе тесно, она и призывает к бунту.

И вдруг подумал: выходит, души у его дочери и даже у зятя менее зажаты, чем у него. А по-настоящему большая и счастливая душа — у внука и совсем еще не понимающей этот мир Катьки.

А значит, не таким уж и плохим будет будущее...

И с этой мыслью, одновременно успокаивающей и обнадеживающей, он и уснул, не зная, что именно в это мгновение его душа наконец-то выбралась из дальнего уголка и вновь обрела способность путешествовать по звездному небу, нисколько не уступая в этом душе его сладко спящего внука...

